



Год без великого поэта... Прошел всего лишь миг по меркам вечности, но чувство утраты чего-то важного в жизни и ощущение пустоты в современной поэзии не покидают тех, в чьих сердцах остался неугасимый след творчества Бахыта Кенжеева. Его стихи – это не просто отражение личных переживаний; они проникают в глубину социальных и культурных проблем нашего общества, поднимая важнейшие темы жизни и бытия. Великий Поэт навсегда останется в нашей памяти, а его слова и мысли продолжат вдохновлять новые поколения, пробуждая в них понимание красоты, глубины и силы поэзии.

Бахыт КЕНЖЕЕВ

«НЕ ГОРЮЙ. ГОРЕВАТЬ НЕ НУЖНО...»

* * *

Говори – словно боль заговаривай,
бормочи без оглядки, терпи.
Индевеет закатное зарево,
и юродивый спит на цепи.

Было солоно, ветрено, молодо.
За рекою казённый завод
крепким запахом хмеля и солода
красноглазую мглу обдаёт

до сих пор – но ячмень перемелется,
хмель увянет, послушай меня.
Спит святой человек, не шевелится,
несуразные страсти бубня.

Скоро, скоро лучинка отщепится
от подрубленного ствола –
дунет скороговоркой, нелепицей
в занавешенные зеркала,

холодеющий ночью анисовой,
догорающий сорной травой –
всё равно говори, переписывая
розоватый узор звуковой...

Памяти Арсения Тарковского

1

Пощадили камни тебя, пророк,
в ассирийский век на святой Руси,
защитили тысячи мёртвых строк –
перевод с кайсацкого на фарси –

фронтовик, сверчок на своём шестке
золотом поющий что было сил –
в невозможной юности, вдалеке,
если б знал ты, как я тебя любил,

если б ведал, как я тебя читал –
и по книжкам тощим, и наизусть,
по Москве, по гиблым её местам,
а теперь молчу, перечесть боюсь.

Царь хромой в изгнании. Беглый раб,
утолявший жажду из тайных рек,
на какой ночёвке ты так озяб,
уязвлённый, сумрачный человек?

Остановлен ветер. Кувшин с водой
разбивался медленно, в такт стихам.
И за кадром голос немолодой
оскорбленным временем полыхал.

2

Поезда разминутся ночные,
замычит попрошайка немой –
пролети по беспутной России –
за сто лет не вернёшься домой.

От военных, свинцовых гостинцев
разрыдаешься, зубы сожмешь, –
знать, Державину из разночинцев
не напаялить казенных галош...

Что гремит в золотой табакерке?
Музыкальный посёлок, дружок.

Кто нам жизнь (и за что?) исковеркал,
неурочную душу поджжёт?

Спи без снов, незадачливый гений,
с опозданием спи, навсегда.
Над макетом библейских владений
равнодушная всходит звезда.

Книги собраны. Пусто в прихожей.
Только зеркало. Только одна
участь. Только морозом по коже –
по любви. И на все времена.

* * *

Хочется спать, как хочется жить,
перед огнем сидеть,
чай обжигающий молча пить,
в чьи-то глаза глядеть.

Хочется жить, как хочется спать,
баловаться вином,
книжку рифмованную читать,
сидя перед огнем.

Пламя трещит, как трещит орех.
Лед на изнанке лет.
Вечной дремоты бояться грех,
и унывать не след,

Грецкий орех, и орех лесной.
Пламя мое, тайком
поговори, потрещи со мной
огненным языком,

поговори, а потом остынь,
пусть наступает мгла,
и за углом, как звезда-полынь,
зимняя ночь бела.

* * *

В. Ерофееву

Расскажи мне об ангелах. Именно
о певучих и певчих, о них,
изучивших нехитрую химию
человеческих глаз голубых.

Не беда, что в землистой обиде мы
изнываем от смертных забот, –
слабосильный товарищ невидимый
наше горе на ноты кладет.

Проплывай паутинкой осеннею,
чудный голос неведомо чей, –
эта вера от века посеяна
в бесталанной отчизне моей.

Нагрешили мы, накуролесили,
хоть стреляйся, хоть локти грызи.
Что ж ты плачешь, оплот мракобесия,
лебединые крылья в грязи?

* * *

Обманивая всех, переживая,
любовники встречаются тайком
в провинции, где красные трамваи,
аэропорт, пропахший табаком,
автобус в золотое захолустье,
речное устье, стылая вода.
Боль обоймет, процарствует, отпустит –
боль есть любовь, особенно когда
как жизнь, три дня проходит, и четыре,
уже часы считаешь, а не дни.
Он говорит: «Одни мы в этом мире».
Она ему: «Действительно одни».
Все замерло – гранитной гальки шелест,
падение вороньего пера,
зачем я здесь, на что еще надеюсь?
«Пора домой, любимая». «Пора».
Закрыв глаза, и окна затворяя,
он скажет: «Ветер». И ему в ответ
она кивнет: «Мы изгнаны из рая».
А он вздохнет, и тихо молвит: «Нет».

* * *

Мудрец и ветреник, молчальник и певец,
всё – человек, смеющийся спросонок,
для Бога – первенец, для ангелов – птенец,
для Богородицы – подброшенный ребенок.

Еще звезда его в черешневом вине –
а он уже бежит от гибели трехглавой
и раковины спит на океанском дне –
не злясь, не торопясь, не мудрствуя лукаво,

один, или среди шального косяка
плоскоголовых рыб, лишенных языка,
о чем мечтаешь ты, от холода немея,
не помня прошлого и смерти не имея?

Есть в каждой лестнице последняя ступень,
есть добродетели: прощенье, простодушие,
и флейта лестная, продольная, как день,
племянница полей и дудочки пастушьей.

Легко ей созывать растерянных мирян –
на звуковой волне верша свою работу,
покуда воздух густ, и сумрачным морям
не возмутить в крови кессонного азота.

* * *

Законы физики высокой
мы постигаем с каждым днем:
крошится зуб, слабеет око,
вот-вот сорвемся, поплывем

мирами газовых скитаний,
и смерть положенной порой
стоит не райскими вратами,
а гнусной черною дырой.

Я огорчил тебя? Ну что ты!
Жизнь – это жизнь, ее не след
судить за ямы и пустоты
в вокзальной очереди лет.

Ведь умный физики не знает
и в биологии не спец.
Он незаметно умирает
и воскресает наконец.

Не узнаваемый живыми,
сжигает звезды по одной
и забывает даже имя
своей печали ледяной...

* * *

Не горюй. Горевать не нужно.
Жили-были, не пропадем.
Всё уладится, потому что
на рассвете в скрипучий дом,

осторожничая, без крика,
веронала и воронья,
вступит муза моя – музыка
городского небытия.

Мы неважно внимали Богу –
но любому на склоне лет
открывается понемногу
стародавний ее секрет.

Сколько выпало ей, простушке,
невостребованных наград.
Мутный чай остывает в кружке
с синей надписью «Ленинград».

И куда зиме в угоду
за простуженным слоем слой
голословная непогода
расстилается над землей,

город, вытертый серой тряпкой,
беспокоен и нелюбим –
покрывая его, ангел зябкий,
черным цветом ли, голубым, –

но пройдишь штукатурной кистью
по сырым его небесам,
прошлогодним истлевшим листьям,
изменившимся адресам,

чтобы жизнь началась сначала,
чтобы утром из рукава
грузной чайкою вылетала
незабвенная синева

Вещи

Бахытжану Кананьянову

Нет толку в философии. Насколько
прекрасней, заварив покрепче чаю
с вареньем абрикосовым, перебирать
сокровища свои: коллекцию драконов
из Самарканда, глиняных,
с отбитыми хвостами
и лапами, прилепленными славным
конторским клеем. Коли надоест –
есть львов игрушечных коллекция.
Один, из серого металла
особенно забавен – голова
сердитая, с растрепанною гривой, –
когда-то украшала рукоять
старинного меча, и кем-то остроумно
была использована в качестве модели
для ручки штопора, которым я, увы,
не пользуюсь, поскольку получил
подарок этот как бы в знак разлуки.

Как не любить предметов, обступивших
меня за четверть века тесным кругом –
когда бы не они, я столько б позабыл.
Вот подстаканник потемневший,
напоминающий о старых поездках,
о ложечке, звенящей в тонком
стакане, где-нибудь на перегоне
между Саратовом и Оренбургом,
вот портсигар посеребрённый,
с Кремлем советским, выбитым на крышке,
и трогательно бельевой резинкой
внутри. В нем горстка мелочи –
пятиалтынные, двугривенные, пятаки,
и двушки, двушки, ныне потерявшие
свой дивный и волшебный смысл:
ночь в феврале, промерзший автомат,
чуть слышный голос в телефонной трубке
на том конце Москвы, и сердце
колотится не от избытка алкоголя или кофе,
а от избытка счастья.

А вот иконка медная, потертая настолько,
что Николай Угодник на ней почти неразличим.
Зайди в любую лавку древностей –
десятки там таких лежат, утехой для туристов,
но в те глухие годы эта, дар любви,
была изрядной редкостью. Еще один угодник:
за радужным стеклом иконка-голограмма,
такая же, как медный прототип,
ее я отдавал владыке
Виталию, проверить, не кошунство ли.
Старик повеселился, освятил
иконку и сказал, что всё в порядке.
Вот деревянный джентльмен. Друг мой Петя
его мне подарил тринадцать лет назад.
Сия народная скульптура –
фигурка ростом сантиметров в тридцать.
Печальный Пушкин на скамейке,
в цилиндре, с деревянной тростью,
носки сапог, к несчастью, отломались,
есть трещины, но это не беда.
Отцовские часы «Победа» на браслете
из алюминия – я их боюсь
носить, чтобы не дай Бог не потерять.
Бюст Ленина: увесистый чугун,
сердитые глаза монгольского оттенка.
Однажды на вокзале в Ленинграде,
у сувенирной лавочки, лет шесть
тому назад, мне удалось подслушать
как некто, созерцая эти многочисленные бюсты,
твердил приятелю, что скоро
их будет не достать.
Я только хмыкнул, помню, не поверив.
Недавно я прочел у Топорова,
что главное предназначение вещей –
веществовать, читай, существовать
не только для утилитарной пользы,
но быть в таком же отношении к человеку,
как люди – к Богу. Развивая мысль
Хайдеггера, он пишет дальше,
что как Господь, хозяин бытия,
своих овец порою окликает,
так человек, – философ, бедный смертник,
хозяин мира, – окликает вещи.
Веществуйте, сокровища мои,
мне рано уходить еще от вас
в тот мир, где правят сущности, и тени
вещей сменяют вещи. Да и вы,
оставшись без меня, должно быть, превратитесь
в пустые оболочки. Будем
как Плюшкин, как несчастное творенье
больного гения – он вас любил,
и перечень вещей, погибших для иного,
так бережно носил в заплатанной душе.